

“УЖАСНОЕ” В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА И Л.Н. АНДРЕЕВА

© 2005 Н.Н. Козлова

Воронежский государственный университет

Ощущение неблагополучия, а в крайних проявлениях — катастрофичности эпохи рубежа XIX—XX вв. было общим для русских писателей независимо от того, начинали они свою творческую деятельность в это время, как Л. Андреев, или достигли репутации мастера, как Чехов. И, конечно, всех в первую очередь волновали состояние и состоятельность человека перед лицом этой реальности. Если трагизм человеческого существования носит иррациональный характер, может ли он, слабый, несовершенный, мечущийся, рассчитывать хотя бы на приближение к пониманию смысла собственной жизни и тем более на полноту самореализации? Если зло носит по преимуществу стихийный характер, часто творится человеком как бы между прочим, какие шансы у добра не то что восторжествовать, а просто сохранить себя?

Изображение искусством человека, находящегося в рабстве у обстоятельств, которые угрожают самому человеческому в нем, воплощено в эстетической категории ужасного. Но если произведения Л. Андреева очевидно требуют ее применения, то произведения Чехова с их кажущейся простотой и даже будничностью вроде бы не дают к тому оснований. Между тем существует, например, письмо В. Мейрхольда Чехову от 8 мая 1904 года о впечатлении от спектакля “Вишневый сад”: “В третьем акте на фоне глупого “топотанья”... незаметно для людей входит Ужас... Веселье, в котором слышны звуки смерти... В этом акте что-то метерлинковское, страшное”. В самом деле, не есть ли гибель целого мира, символом которого является в пьесе вишневый сад, бедствие, несчастье, господствующее над людьми, не контролируемое ими?

Пристально взглядываясь в каждого из своих героев, писатель и в этом одном из последних своих произведений и ранее пытался понять, что же заставляет в общем неплохих людей быть беспощадными разрушителями не только собственной жизни, но и жизни окружающих. Все было

бы проще, если бы зло исходило от исчадий ада. Но у Чехова нет безусловно плохих и безусловно хороших персонажей. Даже в Аксинье из повести “В овраге”, убившей младенца ради наследства, зло представляет собой нечто стихийное, а не является результатом личного выбора. Она — “гадюка”, а ядовитая змея жалит потому, что не может иначе, это ее способ существования, данный природой. А девочка-нянька из рассказа “Спать хочется”? В том-то и ужас, что зло разлито в этом мире независимо от человека. Вишневый сад будет продан и вырублен, хотя для героев пьесы его гибель — конец всему. А они этого не только не понимают, но и каждый по-своему способствует приближению финала. Поэтому — “комедия”. Само жесткое определение автором жанра подчеркивает зловещий характер происходящего. Не ведаем, что творим. Получаем результат противоположный тому, который предполагаем.

Тут Чехов и Л. Андреев очень близки. В письмах первого, в его беседах, по воспоминаниям современников, слово “страшно” встречается в отношении андреевских рассказов чаще всего. Естественно, с долей иронии. По свидетельству О. Л. Книппер, Чехов говорил ей, как страшно было ему при чтении “Жизни Василия Фивейского”, а у самого глаза смеялись. 12 декабря 1902 года он сообщил Ольге Леонардовне: “Пишу я рассказ, но он выходит таким страшным, что даже Леонида Авдеева заткну за пояс”. А речь шла о “Невесте”, произведении, к которому, кажется, трудно всерьез применить это определение. Однако сама неожиданность такого сопоставления заставляет подумать о его неслучайности. И когда начинаешь искать то, что сближает эти произведения, то видишь: оба они — о поисках выхода (или ухода) из того, что у Андреева обозначено как рок, тяготевший над всей жизнью о. Василия, а у Чехова — как предопределенность будущего Нади в связи с предстоящей свадьбой, которая вызывает у нее чувство

страха (именно это слово звучит в самом начале рассказа). И Фивейский, и Надя ищут выхода. Первый — в поисках смысла своей веры в Бога, попытках понять Его замысел. Вторая — в желании разрыв с прежней жизнью, окончательно и бесповоротного. Но жестоко ошибается о. Василий, возомнивший себя избранником, которому за мучения дана часть божественной силы: мертвый, которого он хочет воскресить, не встанет. В рассказе Чехова все значительно мягче, там только вероятность ошибки героини, полагавшей, что она покинула свой город и родных навсегда и что будущее в связи с этим светло и прекрасно. Но одно это как бы вскользь брошенное слово делает финал “Невесты” тревожным: Надя полагала, а что будет на самом деле, от ее полагания не зависит...

Таким образом, и Чехов, и Л. Андреев подвергают сомнению саму возможность для человека строить по выработанному плану даже собственную судьбу, не говоря уже о судьбах мира. И не в последнюю очередь это связано для обоих с наличием в мире некоего изначального неблагополучия или, если выразиться жестче, метафизического зла. Только в текстах Андреева ужас от царящего над миром зла почти всегда материализован, выражен в страшных деталях, ситуациях, диалогах, мотивах, поступках персонажей. А у Чехова убран в подтекст, и если в редких случаях ужасное все-таки как-то оформляется (“Спать хочется”, “В овраге”, “Черный монах”), его явление буднично, порой даже комично — но от этого, пожалуй, еще страшнее.

Но есть и у него произведения, где ужас человека перед неизбывным мировым злом выражен открытым текстом. Это рассказ “Студент”: “холод”, “мрак”, “мгла”, “гнет”, “жутко”, “мучительно”, “страшно”; “все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше”... Такая концентрация чрезвычайных определений состояния мира в высшей степени характерна для Л. Андреева, но удивительна у Чехова. Пожалуй, только знаменитый треплевский текст, прочитанной Ниной Заречной в “Чайке”, и приходит на память. Да и евангельская притча в качестве основы сюжета — типично андреевский, но отнюдь не чеховский

прием. При этом притча о тройном отречении апостола Петра в устах студента духовной академии Ивана Великопольского звучит как последний аргумент в пользу роковой предопределенности каждой человеческой судьбы, каждого поступка в царящем вокруг мраке. Ужасное, предчувствием которого был охвачен Петр, шедший за плененным Иисусом, — это не то, что происходило с учителем, а то, что произошло с ним самим, трижды отказавшимся признать свою связь с Христом, хотя готов он был идти за ним “и в темницу, и на смерть”. В потемки, под жестокий ветер опять уходит Иван от маленького костра, у которого напомнил он о Петре двум деревенским женщинам. Но заканчивается “Студент” апологией правды и красоты, которые “всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле”, ожиданием “неведомого, таинственного счастья”, ощущением героем “высокого смысла” собственной жизни. И дело не в том, что он молод. А в том, что в свои 22 года дал себе труд понять, почему заплакала Василиса, простая крестьянка, слушавшая его у костра. “Потому, что она всем своим существом заинтересована в том, что происходило в душе Петра”. Четкость, яркость границы между мраком и светом, ужасом и надеждой, проходящей через человеческую душу, для Чехова, пожалуй, беспрецедентна. Он, может быть, за эту определенность и любил рассказ “Студент” больше других своих произведений. За то, что не столько заданы вопросы, сколько даны ответы.

Где человеку найти ресурсы для счастья? Как сохранить жажду жизни и веру в добро в ужасном мире, который его всегда окружал и будет окружать? И Чехов, и Андреев были крайне пессимистичны, когда речь шла о возможности глобального решения этих проблем. Все попытки стихийного или по проекту переустройства мира у них обречены (и как поразительно близки в этом смысле чеховский “Рассказ неизвестного человека” и андреевская “Тьма”). Но не все потеряно, когда речь идет о личности, об усилиях и порывах человеческой души. Духовная жизнь тяжела, часто мучительна. Но только на этом пути преодолевается ужас окружающего нас мрака.